

ПО ТУ СТОРОНУ ИЗВУШКИ



РУШИТ ВОРАНАЗ

Румит Вораназ

По ту сторону избушки

<https://litres.ru/74222763>

SelfPub; 2026

Аннотация

Знакомые с детства истории — всего лишь маски.

Вы думали, что Колобок — это весёлый непоседа, а Теремок — уютный дом для зверей? Вы верили, что Репка вырастает просто из земли, а Курочка Ряба несёт золотое яйцо к счастью?

Забудьте.

Перед вами — пять рассказов, которые срывают глянцевую обёртку с фольклора и обнажают его хтоническую суть.

«Колобок» — история о сущности, сотворённой из отчаяния и обречённой на вечный побег. Лес, в который он катится, полон не зверей, а голодных архетипов, а песенка — лишь мантра, оттягивающая неизбежное.

Содержание

По ту сторону избушки	4
Колобок. Уйти, чтобы вернуться	13
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Румит Вораназ

По ту сторону избушки

По ту сторону избушки

Предисловие. Обратная сторона детства, или Когда колыбельная становится заклинанием

Мы привыкли думать, что сказка — это убежище. Тихая гавань, куда мы отправляем своих детей, укрывая их одеялом, чтобы защитить от шума большого мира. Мы верим, что пересказывая истории про глупого волка и хитрую лису, мы прививаем ребенку мораль, учим его добру и осторожности. Мы ощущаем себя мудрецами, передающими опыт сквозь поколения, полируя древние сюжеты до блеска безопасного, глянцевого нарратива.

Но что, если мы ошибались? Что, если за этой глянцевой поверхностью, за акварельными иллюстрациями и ласковым голосом чтеца скрывается бездна — древняя, холодная и совершенно равнодушная к нашим представлениям о морали? Что, если те самые сказки, которые мы мурлыкаем на ночь, на самом деле являются зашифрованными хрониками кош-

маров, инструкциями по выживанию в мире, где человек — далеко не венец творения, а лишь расходный материал или, в лучшем случае, свидетель?

Задумайтесь на мгновение. Отбросьте привычную сентиментальность. Взгляните на эти сюжеты свежим, циничным взглядом взрослого, который знает цену словам «жизнь» и «смерть». Что мы видим?

Мы видим мир, где законы физики и логики работают иначе. Где хлебобулочное изделие обретает разум и волю к жизни, а кухонная утварь говорит человеческим голосом. Мы привыкли списывать это на «сказочный вымысел», на поэтическую условность. Но что, если это не условность, а диагноз? Диагноз реальности, в которой границы между живым и неживым, между естественным и сверхъестественным не просто стерты — они были проведены заново по лекалам древних ужасов.

Речь идет не о простом «пересказе страшилок». Это попытка реконструкции. Археология ужаса. Представьте, что каждый из нас носит в подсознании родовую травму, память о тех временах, когда лес был не просто лесом, а огромным, дышащим организмом, полным голодных ртов. Когда дом был не крепостью, а ловушкой. Когда семья была не союзом, а вынужденным сожительство́м перед лицом всепоглощаю-

щей Тьмы.

Возьмем, к примеру, «Теремок». Знакомая с детства история о дружном общежитии зверей. Но вслушайтесь в само слово: Терем. В древности это слово означало не просто дом, а некое сакральное, часто погребальное сооружение, высокий и одинокий. Это не просто «домик в поле». Это — капкан. Это — живой организм, обладающий сознанием, терпеливый хищник, который не охотится активно, а привлекает жертву иллюзией безопасности.

Он не рушится от того, что медведь просто неуклюжий. Он рушится, потому что алчность Теремка превышает его вместимость; он переполняется плотью и душами, чтобы лопнуть в экстазе пожирания, оставляя после себя лишь пустоту и ожидание новых «жильцов». За каждой дверью Теремка скрывается не уютная комната, а пасть, за каждым окошком — глаз, следящий за приближением очередной наивной души.

В этом цикле мы возвращаем сказкам их изначальную, темную суть. Мы снимаем с них грим добра и наивности. Фольклор, в своей основе, никогда не был «детским». Он был ритуальным. Он был способом объяснить жестокость мира, перенеся ее в плоскость иносказания. Волк, съедающий бабушку — это не просто метафора опасности разгово-

ров с незнакомцами. Это аллегория смерти, которая неумолима и часто приходит в самых знакомых, «родных» обликах. Красная Шапочка проходит инициацию в лесу, который является проекцией ее собственного подсознания, полного хищных инстинктов.

Как же трансформируются наши герои в этом контексте?

Колобок перестает быть просто «веселым пирожком». Он становится воплощением Воли, чистого стремления к свободе. Он создан из остатков, из того, что «по сусекам помела». Это Frankenstein из муки, порожденный бедностью и отчаянием. Его путешествие — это побег от predetermined судьбы (быть съеденным семьей). Он уходит от Деда и Бабы, от социума, в лес — царство чистого хаоса. Но в этом лесу он встречает не глупых зверей, а древних сущностей, которые играют с ним, наслаждаясь его иллюзией свободы. Каждая его песенка — это не беззаботная болтовня, а мантра, заклинание, временно сбивающее хищников со следа. Лиса же — это воплощение метафизического обмана, сущность, которая видит суть Колобка не как еду, а как артефакт, архетип, который нужно разрушить, чтобы вернуть равновесие. Ее «сядь на носок, спой еще разок» — это ритуал расчленения, гастрономическая экзекуция.

Репка. Казалось бы, трогательная история о семейной вза-

имопомощи. Но вдумайтесь в масштаб: вытащить из земли корнеплод. Земля в древних верованиях — это утроба Матери-Земли, принимающая мертвых. Репка — это не овощ. Это — нечто, что проросло из глубин, инородное тело, которое пытается выйти наружу. Оно обладает колоссальным сопротивлением, потому что связано с подземными силами. Вся цепочка — Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка — это не просто помощь, это — ритуальная цепь, попытка замкнуть энергетический контур, чтобы вырвать артефакт из царства мертвых. Мышка — не слабая старушка, а последнее звено, «козырная карта», потому что она ближе всего к земле, к подземелью. И когда цепь смыкается, происходит прорыв. Репка вырвана. Но что остается в земле? Воронка. Дыра. И понимание того, что в следующий раз Земля может не отдать ношу так легко, а наоборот — утащить за собой всю эту цепочку.

Курочка Ряба — квинтэссенция абсурда и космического ужаса. Это история о том, как в мир обыденности (изба, дед, баба, мышь) врывается чудо, но чудо это — разрушительное. Золотое яйцо — это не символ богатства, это — бомба, капсула с реальностью, несовместимой с нашей реальностью. Дед и баба бьют его, чтобы... вернуть всё на круги своя, чтобы уничтожить этот дефект, эту «ошибку компиляции» мироздания. Мышь разбивает его случайно, но именно она оказывается орудием судьбы. И когда яйцо разбивается, от-

крывается не желток, а пустота, глаз или зерно хаоса. Курочка же, успокаивая стариков, обещает снести «простое» яйцо. Но это не утешение. Это — приговор. Это знак того, что мир уже дал трещину, что золотое яйцо было лишь предвестником, а «простое» яйцо, которое она снесет потом, вылупит уже не цыпленка, а нечто, что уничтожит их мир полностью. Она — не курица, а Хранительница Границы, заставляющая людей забыть о том, что они видели, чтобы сохранить их рас-судок ценой медленной, вязкой лжи.

Ёлочка (или Морозко / Двенадцать месяцев) в нашей интерпретации — это не история о торжестве справедливости. Это история о Контракте. О том, что природа (Лес, Мороз) не терпит дисбаланса. Падчерица идет в лес не за хворостом, а на встречу. Зимний лес — это зал ожидания для душ, перешедших черту. Морозко — это не добрый дедушка, а Судья, который проверяет тебя на прочность не для того, чтобы одарить, а чтобы отделить зерна от плевел. Если ты выдержишь его холод — значит, ты пуст внутри, в тебе нет тепла, которое могло бы согреть тебя, и ты становишься частью леса, его рупором. Награда Падчерицы — это не короб с подарками, а печать, метка, делающая ее чужой среди живых. Ее сестра, пришедшая с жадностью, погибает не потому, что она злая, а потому, что она слишком живая, слишком наполненная похотью и гневом, чтобы пройти фильтр ледяного безмолвия.

Зачем нам эти переосмысления? Затем, что в эпоху торжества технологий и рационализма мы потеряли способность бояться правильных вещей. Мы боимся террористов, экономических кризисов и вирусов. Но мы перестали бояться Тьмы, которая живет в углу комнаты, в скрипе половиц, в шорохе листьев за окном.

Мрачные сказки — это способ вернуть нашей жизни объем. Они напоминают нам, что мир не обязан быть добрым. Он не обязан соответствовать нашим ожиданиям. В этом мире колобок может быть разумным, теремок — кровожадным, а курица — посланцем иных миров.

Надевая на эти старые кости новую плоть из теней и страхов, мы не оскверняем детство. Мы углубляем его. Мы показываем ребенку (и себе самим), что тьма существует, но ее можно встретить лицом к лицу в книге, в безопасном пространстве вымысла, чтобы научиться узнавать ее приметы в реальной жизни.

Перед вами — не сборник страшилок. Это — «Евангелие от Избушки», сборник мифов о том, как мы создаем себе чудовищ, чтобы не сойти с ума от скуки бытия. Это — исследование архетипов, которые мы носим в себе, независимо от того, верим мы в Бабу-Ягу или нет. Она есть. И она живет не

в дремучем лесу, а в нашей коллективной памяти, поджидая нас на перекрестке выбора.

Это истории о том, что любая, даже самая добрая сказка — это лишь тонкая наледь на поверхности бездонного колодца. Мы приглашаем вас заглянуть в этот колодец. Не бойтесь, мы будем держать вас за руку. Но помните: в темноте ваша рука может встретить не нашу ладонь, а чью-то другую, шершавую и ледяную. Ту самую, что похожа на лисью лапу или медвежью ступню.

Добро пожаловать в лес. Он ждал вас.

ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕТОК АВТОРА (для внутреннего использования):

В этом сборнике нам предстоит пройти через пять кругов детской памяти.

1. «Колобок: Круговая охота» — история о сущности, бегущей по кругу судьбы, и охотниках, которые перестают быть просто зверями.

2. «Репка: Корни гнева» — хтонический хоррор о том, что растет внизу и что готово поглотить тех, кто тянет его

на свет.

3. «Теремок: Живой дом» — психологический ужас о замкнутом пространстве и паразитическом сознании, питающемся отчаянием.

4. «Курочка Ряба: Аномалия» — мистический детектив о том, как обычный мир дает трещину, и что выглядывает из нее.

5. «Ёлочка: Ледяные врата» — экзистенциальная драма, где холод выступает как атрибут истины, а жертва становится частью пейзажа.

И пусть каждый из вас, закрывая эту книгу, задаст себе вопрос: «А ту ли сказку мне рассказывали в детстве? Может быть, я просто не умел слушать?»

Колобок. Уйти, чтобы вернуться

1. Изба на краю

Зима приходит не с неба. Она выползает из земли — промороженными корнями, чёрными проплешинами на полях, ледяным дыханием из трещин в фундаменте. В ту зиму она явилась рано, ещё до Покрова, и застыла, не желая уходить. Дед говорил, что такая стужа — не от ветра, а оттого, что солнце состарилось и перестало греть. Баба молчала. Она знала: солнце здесь ни при чём. Просто мир накренился, и холод стек в их сторону, как вода в яму.

Изба стояла на отшибе, где лес уже не лес, а поле ещё не поле — ничейная земля, которую обходили стороной даже волки. Брёвна почернели от времени, крыша прогнулась посередине, словно спина старого коня, и в щели между венцами забился мох, похожий на седую бороду. Внутри пахло кислым тестом, сыростью и тем особым запахом, который появляется, когда люди живут в одном помещении со своей смертью слишком долго. Печь занимала половину избы. Она была сложена из камней, которые помнили ещё языческие костры, и грео не столько тепло, сколько память о тепле. В углах висела паутина, но пауки в ней не жили — они ушли вместе с мухами, и паутина держалась только на обещании

когда-нибудь заполниться снова.

Дед и Баба сидели друг против друга за столом, на котором давно не было скатерти. Дед был сухой, как береста, с пальцами, скрученными ревматизмом, и глазами, выцветшими до цвета зимнего неба. Баба — маленькая, круглая, с лицом, изрезанным морщинами, похожими на карту давно исчезнувшей страны. Они молчали. Им нечего было сказать друг другу. Все слова были сказаны за семьдесят лет, все обиды пережёваны и переварены, осталась только пустота, которую надо было чем-то заполнить. Но есть было нечего.

— По сусекам помела? — спросил Дед, не глядя на неё.

— Помела, — ответила Баба. — Две горсти. Да муки той — пыль одна.

— И то хлеб.

— Хлеб из пыли? — Баба усмехнулась, но в голосе не было веселья. — Это не хлеб будет. Это пригоршня праха, замешанная на слезах. Я не знаю, что из этого выйдет. Но что-то выйдет.

Она встала, и половицы закрипели под её ногами — не от тяжести, а от привычки жаловаться. Пошла в чулан, где на

полке, обитой берестой, стояла деревянная чашка. Там действительно было на донышке — сероватая мука, смешанная с отрубями, с крупой, которую уже не разобрать, с чем-то, что когда-то было едой, а теперь стало просто веществом. Баба взяла чашку, поставила на стол, и они оба уставились на неё, как на пустой гроб.

— Молока нет, — сказала Баба. — Яйца нет. Масла нет. Что я могу сделать? Слезу добавлю, чтобы не рассыпалось.

Она заплакала негромко, без всхлипов, просто слёзы потекли по морщинам, и она собрала их в ладонь, и плеснула в муку. Замесила тесто. Оно было жёстким, неподатливым, как глина, но Баба месила, пока не согрелось в руках. Дед молча смотрел, и в его взгляде было нечто большее, чем голод. Там было отчаяние — то самое, которое не просит, а требует чуда. И когда Баба скатала из теста шар, положила его на лопату и сунула в печь, Дед перекрестился — но не на бога, а на дверь, на порог, на косяк, на то, что было до бога.

Печь загудела. Она всегда гудела перед тем, как сделать что-то неладное. И в тот вечер она гудела особенно низко, особенно протяжно, будто в её чреве ворочалось не тесто, а нечто живое, что просилось наружу.

Баба сказала:

— Я видела его во сне. Маленького, круглого, с глазами из углей. Он пел. Он пел о том, что его никто не съест.

Дед ничего не ответил. Он знал: когда баба видит сны, это не к добру. Это к тому, что сны начинают сбываться.

2. Рождение

Колобок родился в полночь. Он не выкатился из печи сам — он выпал, когда Баба, задремав у огня, выронила лопату. Шар упал на пол, подскочил и замер. Он был не круглым — чуть вытянутым, с неровностями, будто в нём застряли косточки. Но самое странное: он пах не хлебом. Он пах свежей землёй и железом, и ещё чем-то сладковатым, что бывает только в могилах, когда снег только начинает таять.

Дед проснулся от звука. Он посмотрел на пол и обмер. Шар лежал, и на его поверхности проступали трещины — не от холода, а от того, что внутри что-то двигалось. И тогда он услышал голос. Тонкий, писклявый, но отчётливый:

— Не ешь меня. Я тебе не хлеб.

Дед попятился, наткнулся на лавку и сел, не чувствуя ног. Баба подняла голову, протёрла глаза и, увидев шар, не испугалась. Она улыбнулась — впервые за много лет.

— Сынок, — сказала она. — Это ты, сынок?

— Я не сын, — ответил Колобок, и в его голосе послышался хрип, как у старика. — Я тот, кто должен покинуть тебя. Я тот, кто должен быть съеден. Но не вами. Вами — никогда.

Баба хотела подойти к нему, протянуть руку, но Дед перехватил её:

— Не трогай. Это не хлеб. Это... это не знаю что. Он говорит.

— Говорит, значит, живой, — сказала Баба и снова заплакала, но теперь от счастья. — Мы не одни.

Колобок тем временем покатился к порогу. Он катился не по полу, а чуть выше, будто не касался досок. Он катился туда, где в щель под дверь пробивался лунный свет, холодный и голубой. Дед хотел крикнуть, чтобы он остановился, но горло перехватило. Баба шепнула:

— Пусть. Он сам решил. Мы его родили, но мы его не держим.

И Колобок выкатился в ночь.

Снаружи мороз укутал его мгновенно. Но он не замёрз. Он покатился по насту, оставляя за собой не след, а тонкую полосу испарений, будто его тело горело изнутри. Луна стояла над лесом, разорванная на две половины — так бывает, когда облака режут диск, но в эту ночь облаков не было. Просто луна была треснутой, как яйцо, из которого ещё не вылупилось ничто.

И Колобок запел. Он не знал, откуда взялась песня — она родилась сама, из его центра, из того самого места, где Баба замесила слёзы и кровь (кровь — да, она порезала палец, когда месила, сама не заметила, но тесто впитало её, и теперь Колобок пел её памятью).

— Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от холода ушёл,
Я от голода ушёл...

Но дальше слова перестали быть словами. Они стали заклиниванием. Они стали оберегом, который он носил в себе,

как ракушка носит жемчуг. И лес, услышав песню, замер. Деревья перестали скрипеть. Снег перестал хрустеть. Даже ветер задержал дыхание, потому что в той песне было что-то, что лес помнил, но боялся вспомнить.

Колобок катился по заснеженной тропе, которая вела не в глубь леса, а в его сердце. И он знал: там, в сердце, его ждут. Они все ждут. Заяц, Волк, Медведь. И та, кого он боялся больше всего. Та, у которой глаза раскосые и голос как шёлк.

Но сначала был Заяц.

3. Заяц-проклинатель

Заяц сидел на пне посреди поляны. Он был стар, очень стар, и шерсть его была серой не из-за зимы, а от того, что он давно перестал линять. Глаза у него были бельмом, а уши — рваными, будто кто-то откусывал их края по кусочкам. Он ждал. Не Колобка — он ждал того, кто пройдёт мимо. И когда Колобок выкатился на поляну, Заяц не бросился на него, не попытался схватить. Он посмотрел сквозь него и сказал:

— Ты не еда. Ты — вопрос. И ответа на тебя нет.

Колобок остановился. Он не знал, что такое «вопрос» и что такое «ответ». Он знал только, что надо катиться дальше, чтобы его не съели. Но Заяц не собирался его есть.

— Ты думаешь, что убегаешь, — продолжил Заяц. — Но ты бежишь по кругу. Этот лес — он не круглый. Он — спираль. И ты уже был здесь. Ты был здесь много раз, просто не помнишь. Я тебя помню. Я помню, как ты катился мимо меня сто лет назад. И двести лет назад. И когда этого леса ещё не было, а была только вода, ты уже катился.

Колобок хотел ответить, но Заяц поднял лапу, и он замолчал.

— Ты ищешь того, кто тебя съест, — сказал Заяц. — Только ты думаешь, что ищешь спасения. Но спасения нет. Есть только съедение. И чем дальше ты катишься, тем ближе ты к тому, кто съест тебя правильно. Меня не бойся. Я не могу есть. У меня нет зубов — их выдрали ещё в ту зиму, когда я был молодым и глупым. Я только проклинаяю.

И Заяц произнёс проклятие. Оно было тихим, почти шёпотом, но Колобок слышал каждое слово:

— Пусть тот, кто тебя создал, ещё раз создаст.
Пусть тот, кто тебя родил, ещё раз родит.

Пусть круг замкнётся, когда ты найдёшь её.
И пусть она будет не той, кого ты ждёшь.

После этих слов Заяц исчез. Не ускакал — просто стал прозрачным, как пар, и растворился в воздухе. Остался только пень, и на нём — иней, складывающийся в буквы, которые Колобок не умел читать.

Колобок покатился дальше. Но теперь он чувствовал: что-то изменилось. Проклятие осело на его корке, как тонкая ледяная корочка, и он понял, что не может её стряхнуть. Он понял, что теперь он не просто катится — он движется по начертанному маршруту. И песня, которую он пел, теперь звучала по-другому:

— От зайца я ушёл,
Но он остался во мне.
И я уйду от волка,
Но волк останется во мне.
И я уйду от медведя,
Но медведь останется во мне...

Он замер, потому что дальше слов не было. Дальше была только та, с раскосыми глазами, и он не знал, уйдёт ли он от неё. Он знал только, что она ждёт. И что она не хищница. Она — прибежище.

4. Волк-философ

Волк не выл. Он сидел под сосной, которая росла вверх ногами — да, в этом лесу были такие, корни торчали к небу, а ветви уходили в землю. Волк был огромным, с сединой на морде и глазами, в которых отражались все звёзды, которые уже погасли. Он не смотрел на Колобка. Он смотрел на небо, на место, где была луна, и говорил с ней.

— Ты опять здесь, — сказал Волк, не поворачивая головы. — И я опять здесь. И я не съем тебя. Потому что ты — не еда. Ты — ошибка. Ошибка в расчёте того, кто решил, что из двух горстей пыли может получиться жизнь. И ошибки надо исправлять.

Колобок хотел покатиться дальше, но Волк поднял голову, и его взгляд пригвоздил шар к месту.

— Ты знаешь, что такое равновесие? — спросил Волк. — Это когда на одной чаше — жизнь, на другой — смерть. Ты — не на той и не на той. Ты — между. Ты — переход. Ты — не хлеб, не дух, не зверь. Ты — щель. И через эту щель может пройти что угодно. То, что было до нас. То, что будет

после. Я должен был съесть тебя, чтобы закрыть щель. Но я не могу. Потому что ты — не плоть. Ты — слово. А слова нельзя съесть — их можно только произнести.

Волк замолчал и посмотрел на Колобка так, как смотрят на больного, которому не поможешь:

— Ты встретишь ту, которая закроет щель. Она тебя не съест. Она тебя примет. И ты станешь её частью. И тогда цикл начнётся заново, потому что она — не конец. Она — начало. Ты думаешь, она — лиса? Нет. Она — не лиса. Она — то, что было до лис. Иди. Иди к ней. Она ждёт.

Колобок покатился дальше. Волк не остановил его, не попытался поймать. Но в ушах Колобка застряли его слова: «Она — не лиса». Что же она? И почему он чувствует, что знает ответ, но боится его произнести?

Он катился через чащу, где деревья смыкались над головой, образуя коридор, и ветки тянулись к нему, как руки нищих. Он катился через замёрзшие ручьи, где подо льдом двигались тени, которых не могло быть в реке. И он пел, но теперь песня была без слов:

— Я уйду от всех,
Но к ней приду.

И она меня обнимет,
И она меня согреет,
И она меня не съест,
А я в ней растворюсь...

Песня была страшной. Колобок знал, что поёт о смерти, но в его голосе не было страха. В его голосе была тоска — по чему-то, чего он никогда не знал. И тогда он услышал дыхание за спиной. Тяжёлое, с хрипом, как у кузнечных мехов. Медведь.

5. Медведь-страж

Медведь вышел из берлоги, которую он вырыл под корнями перевёрнутой сосны. Он был таким большим, что его тень закрывала всё небо, и таким старым, что на его шкуре росли лишайники и мелкие грибы. Он не собирался есть Колобка — он хотел его раздавить. Не из голода, а из обиды.

— Ты разбудил меня, — прорычал Медведь. — Я спал тысячу лет. Я спал до того, как этот лес стал лесом. И ты, комочек теста, прикатился и запел свою песню, и она проникла сквозь землю, сквозь корни, и разбудила меня. Зачем? Зачем ты это сделал?

Колобок хотел объяснить, что он не хотел, что он просто катится и поёт, потому что иначе он не может, потому что пение — это его способ быть. Но Медведь не слушал.

— Ты — знак, — сказал Медведь. — Знак того, что время вышло. Что тот, кто должен прийти, уже близко. И я должен тебя остановить. Не съесть — остановить. Иначе ты докатишься до неё, и она сделает то, что должна сделать. И тогда этот лес исчезнет. И этот мир исчезнет. Останется только она — и её избушка на курьих ножках. И мы все станем её частью.

Медведь поднял лапу, и его когти, длинные, как серпы, сверкнули в лунном свете. Но он не ударил. Он замер. Потому что Колобок запел. Не ту песню, что пел раньше. Другую. Ту, которую он слышал внутри себя, когда Баба месила тесто.

— Не бей меня, не тронь,
Я не твой враг.
Я — тот, кого послали.
И если ты меня убьёшь,
Ты убьёшь не меня,
А то, что должно быть.

И Медведь опустил лапу. Его глаза наполнились слезами — такими же древними, как он сам:

— Иди, — сказал он. — Иди к ней. Но помни: она не лиса. Она — пустота. И когда ты станешь её частью, ты перестанешь быть собой. Ты станешь ею. Это — не гибель. Это — растворение. Но ты всё равно иди. Потому что ты — не живой. Ты — не мёртвый. Ты — ничто. А ничто всегда стремится к пустоте.

Колобок покатился дальше. Теперь он знал: он приближается к ней. И чем ближе он становился, тем тише была его песня, потому что он всё больше слушал не себя, а тишину, которая исходила от неё. От той, что ждала.

И тогда он увидел поляну. И на ней — нечто, что он не мог назвать ни домом, ни зверем, ни человеком.

6. Лиса с раскосыми глазами

Она сидела на камне посреди поляны. Сначала Колобок увидел только рыжий хвост — он лежал на снегу, и снег вокруг него не таял, потому что хвост был не тёплым. Он был живым — живым по-своему, не как у зверей, а как у огня.

Потом он увидел спину, и плечи, и голову, склонённую набок. И когда она повернулась, он увидел её лицо.

Это было лицо лисы. Но не совсем. Оно было слишком человеческим, слишком осмысленным, чтобы быть просто мордой. И в нём не было хитрости. В нём была мудрость, которая старше леса, и печаль, которая глубже любой реки. И её глаза. Они были раскосыми — такими раскосыми, что казалось, будто они смотрят не на этот мир, а сквозь него, в какой-то другой, где всё иначе.

И она не сказала: «Колобок, Колобок, я тебя съем». Она сказала:

— Иди ко мне. Ты замёрз. Ты устал. Ты катился так долго, что потерял счёт времени. Иди ко мне, я тебя согрею.

Колобок хотел ответить — спеть свою песню, рассказать, что он ушёл от деда и бабы, от зайца, волка и медведя, что он никого не боится и что её он тоже не боится. Но слова застряли. Потому что в голосе Лисы не было угрозы. В нём была доброта. Настоящая, тёплая, как бабушкина печь, но без дыма, без гари, без того запаха смерти, который всегда был в их избе. Там, в голосе Лисы, пахло молоком и мёдом, и чем-то ещё, что Колобок помнил, но не знал, откуда.

Она протянула лапу. Не когтистую, не хищную — мягкую, пушистую, как варёжка. И она не пыталась схватить. Она просто протянула её — как приглашение. Как дверь, которая открывается перед путником.

— Я не съем тебя, — сказала она, и её глаза блеснули влагой, которая не была слезами, но была чем-то более чистым. — Я не ем то, что умеет говорить. Я ем только то, что молчит. А ты, Колобок, ты поёшь. Ты — голос. И мне нужен голос. Мне нужен тот, кто будет петь, когда я уйду. Потому что я чувствую, время уже близко. Я слышу это в ветре и вижу в воде. И когда я уйду, мир останется без песен. А без песен он засохнет, как трава без дождя.

Колобок приблизился. Он не мог не приблизиться. Она была такой доброй, такой ласковой, такой красивой, что у него не осталось сил сопротивляться. Он подкатился к её лапе, и она положила её на него — нежно, почти как мать кладёт руку на голову ребёнку. И он почувствовал тепло, которого не чувствовал никогда. Он почувствовал, что его любят. Не за то, что он делает, не за то, что он говорит, а просто за то, что он есть.

— Ты устал, — сказала Лиса. — Ты катился всю ночь. Ты катился всю свою жизнь. А жизнь у тебя была короткая. Но ты не жалеешь об этом. Ты сделал больше, чем другие делают

за сто лет. Ты встретил всех, кого должен был встретить. Ты услышал все слова, которые должен был услышать. Теперь отдохни.

Она взяла его в лапы — бережно, как яйцо, — и прижала к груди. И Колобок почувствовал, как его твёрдая корка начинает размягчаться. Не от жара — от нежности. От той силы, которая сильнее голода, сильнее страха, сильнее самой смерти. Он растворялся в ней — не как еда в желудке, а как утренний туман в солнечных лучах.

Она запела. Ту самую песню, которую он пел, когда ушёл из избы, но перевёрнутую — не наоборот, а изнутри:

— Ты от дедушки ушёл,
Ты от бабушки ушёл,
Но к себе ты не пришёл,
Пока ко мне ты не пришёл.
И теперь ты будешь мной,
И я буду тобой.
И никто нас не разделит,
Никто нас не съест,
Потому что мы — не еда.
Мы — песня.

И Колобок закрыл глаза. Он понял, что это — финал. Не

тот финал, которого он боялся, а тот, которого он ждал, сам не зная. Он становился частью Лисы. Его пыль смешивалась с её шерстью, его песня — с её дыханием, его страх — с её мудростью. И в последний миг, когда он уже перестал быть собой, он заглянул в её раскосые глаза — и увидел там не пустоту, а бесконечность. И в этой бесконечности он увидел себя — катящегося снова, с самого начала, от деда и бабы, через зайца, волка и медведя, к ней, снова и снова. Цикл не замыкался — он становился спиралью.

Лиса закрыла глаза и вздохнула. В её вздохе не было насыщения. Была благодарность. Она приняла не еду — она приняла дар. И когда она открыла глаза, в них уже не было голода. В них была только та самая доброта, которая не требует ничего взамен. Она смотрела на пустую поляну, где ещё секунду назад лежал Колобок, и улыбалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.